



НАДЕЖДА ХВОЩИНСКАЯ

Пансионерка

RUGRAM

Москва

2 0 2 2



УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Х34

Хвощинская Н.

Х34 Пансионерка / Н. Хвощинская. — М. : Т8 Издательские технологии / RUGRAM, 2022. — 188 с. — (Жизни и судьбы).

ISBN 978-5-521-77638-2

Героиня повести Леленька живет в большой семье. Ее жизнь течет по обычному руслу — обучение в пансионе, вечернее шитье за пяльцами, домашняя учеба. Она отлично знает, что учиться и читать учебники — весело, а то, что происходит вне ее семьи — неинтересно и вредно.

BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-77638-2

© RUGRAM, 2022
© Т8 Издательские технологии, 2022



Пансионерка

Повесть

I

Часу в шестом вечера, в начале мая, двое молодых людей бродили по саду, окружавшему один из домов города N. Вечер был очень хорош. Сад, хотя невелик, был запущен. Приятели долго шагали все по одной дорожке, часто цепляясь головами за нависшие ветки сирени. Один из них был гость; его костюм, изысканный, изящный, носил отпечаток Петербурга и казался даже странным среди неубранного пустыря, каким можно было назвать этот провинциальный сад. Молодой человек был недурен собою, держался чинно, прямо; прекрасные черные баки придавали ему еще более серьезный вид. Он был в шляпе и не снимал перчаток. Хозяин был меньше ростом, белокур, в стареньком сером пальто, без фуражки. Он хотя был моложе, но казался одних лет с гостем; его черты были очень красивы, но как-то смяты, лицо не бледно; но болезненно неровная, нетерпеливая походка довершала его несходство с гостем. Гостя звали Ибраев; он только недавно приехал в N на очень видное место. Хозяин назывался Веретицын и уже более года тоже занимал в N место, но очень не-





видное. Воспитывались они не вместе, познакомились давно, и в этот вечер виделись в первый раз после трех лет.

Ибраев рассказывал, как получил свое место, рассказывал с подробностями и, казалось, умножал их, чтоб продолжить разговор, для которого, кроме этого, не находил предмета. Веретицын слушал, казалось, внимательно, но без участия. Оба точно исполняли обязанность, праздноуя вопросами и рассказами встречу после долгой разлуки.

— Ты не устал ходить? — спросил Веретицын, когда тот замолчал.

Ибраев устал давно, но не говорил этого из учтивости или потому, что не надеялся найти на чем сесть в этом саду.

— Нет... да... Но в доме жарко, — сказал он, думая о тесной комнате, в которой, придя за полчаса назад пред этим, нашел своего приятеля.

Веретицын отгадал его думу.

— Садись здесь, — сказал он, выводя его из-под сиреней на маленькую площадку, где стояла простая деревянная скамейка. Вокруг нее был насажен хмель, поднявшийся уж высоко по жердям; по земле стлалось множество лебеды и повители.

— Садись ближе к середине, — прибавил Веретицын, — ножки вывертываются.

— Хочешь? — спросил Ибраев, доставая сигары.

— Я не курю.

— Давно ли? Ты был охотник.

— Отстал.

Ибраев закурил; Веретицын стегал по траве тоненькой веткой, которую сломал с сирени; оба молчали. Это была одна из таких минут, когда припоминается и передумывается живее все, что сейчас слышалось или было перед глазами, припоминается и сравнивается с настоящим далекое прошлое, проходит натянутость, холодность первой встречи, узнается прошлый человек в постороннем, с которым сейчас, казалось, говорить было не о чем, которого расспрашивать было неловко... Ибраев смотрел на наклоненную голову приятеля; ему



припомнился голубой околыш фуражки на этих волосах; последние пустые, односложные слова шевельнули в душе что-то далекое; показалось как-то совестно вести посторонний разговор...

— Ну, а ты что же, Саша? — спросил Ибраев уже не тем ровным, мягким голосом, каким рассказывал свои успехи в свете и по службе.

— Я что? Да ничего,— отвечал Веретицын, оглядываясь и под влиянием того же раздумья.— Вот живу здесь другой год. Тебе новезло... Ну, и мне было недурно сначала. Конечно, не то, что тебе, вы — счастливчики, что вылетели — устроенны, как нам, грешным, и не снится.

— Ты чем вышел? кандидатом?

— С медалью, мой милый. Два года был учителем в Москве, потом прислали сюда.

— Учителем тоже?

— Писарем в губернское правление,— отвечал Веретицын.— Я »под началом«,— договорил он, заметя небольшое смущение приятеля и засмеявшись.

— Я не знал...— сказал Ибраев.

— Напрасно не навел справок. Мое знакомство не очень лестно, особенно для такой важной особы, как ты. Не обижайся. Я знаю, ты малый хороший, но моя репутация потеряна, и тебе нечего со мной связываться. Ты здесь уж целый месяц — я это знал и не шел к тебе, не встретиться мы нечаянно, не приди ты сам...

— И тебе не совестно?

— Ничего не совестно,— возразил серьезно Веретицын,— на что я тебе нужен? Ты человек светский, за тобой уже ухаживают маменьки, по тебе вздыхают девицы; ты человек солидный, «власти» наши пред тобой с уважением,— какое тебе дело до мелкой мошки, которая пригодилась миру на переписыванье бумаг и ни на что больше? Ты пишешь протесты, а я не смею вычеркнуть запятой; ты — царское око, а я аттестован «вредным направлением»! Где же была бы у меня совесть,



если б я стал тебе навязываться? Мы пошли так розно, что нам вовеки не встречаться... Ну, и прощай!

— Ты ожесточен,— сказал Ибраев и замолчал.

Несколько минут они молчали оба. Веретицын опять принялся сбивать лебеду, улыбаясь насмешливо и как будто с ожиданием.

— Что же ты не спросишь, за что со мной это приключилось? — спросил он наконец.

— Ах да! в самом деле, за что? — сказал Ибраев.

Веретицын засмеялся громко.

— Да я и сам не знаю,— отвечал он, бросив ветку, которою играл.— Ты на год нанял себе квартиру? Напрасно: тот дом холоден.

— В самом деле? Это досадно... А ты живешь у своей сестры? — спросил Ибраев.

— Да, у зятя.

— Хорошие люди?

— Да... Дурных людей нет. Зло есть только отвлеченное понятие; в действительности его нет. О нем говорят так только, чтобы о чем-нибудь говорить. На свете все прекрасно, люди все добры... Они шалят иногда... ну, тогда на них есть управа. Вот важные господа, как ты, например...

— Послушай, Саша,— прервал Ибраев, которому стало совестно,— я еще не такой важный господин, чтоб уж со мной было говорить нельзя. Будь откровенен, сделай милость.

— Да что же — откровенен... Скучно,— сказал вдруг Веретицын, не удержавшись больше, потому ли, что был не в силах, или потому, что голос старого знакомого вызывал высказаться.— Зять — чиновник, был беден, теперь нажился. Сестра была бедная девушка, только потому не стряпала обеда, что считалась «барышней»: теперь барыня, в бархате, в перьях; куча детей... вот они во дворе змея пускают.

Ибраев давно слышал во дворе крики и даже драку; он поморщился.



— Я бы мог, конечно, вступить, унять,— продолжал Веретицын,— но ведь я не авторитет. Мой зять, их батюшка, упражнялся в этом до семнадцатого года жития своего и ныне губернский казначей; я на семнадцатом году выдержал университетский экзамен — а что же я?..

— Что же ты делаешь? занимаешься чем-нибудь, читаешь?

— Некогда, негде, нечего; я обязан быть в должности всякий день, мой угол ты видел: книг у меня нет.

— Но ведь день велик; после должности?

— Сплю. Вот здесь шатаюсь...

— Но как же так.

— Ох, вы, деятели! — прервал Веретицын. — Ну, найди мне дело; скажи мне, что можно делать, но разумно, чтоб это не было, что называется, воду толочь? Писать заметки, скажешь ты, благо я преподавал историю и статистику? На это еще и свободное время нужно, и средства нужны... Ну, да так и быть, положим, нашел бы я это как-нибудь, изволь. Что разбирать, чем заняться? Здесь ни памятников, ни достопамятностей, ни источников днем со свечкой не отыщешь. Был в одном монастыре костыль Пересвета, палка в сажень вышины — и ту монахи перехватили пополам топором: не поместилась в нише, в новой церкви... Вот тебе и все так. Статистика... О ней официально десять тысяч раз писано, а тронуть что-нибудь неофициальное, какую-нибудь живую и больную сторону... Покорно благодарю! еще пошлют подальше, а мне и здесь скверно!

— Это отговорки; послушай, это недостаток силы воли...

— Еще скажи: недостаток самоотвержения! Еще что? Право, вы мне нравитесь, счастливички! Вы понятия не имеете о настоящем труде, а кричите другим, чтоб трудились. Не беспокойтесь, мы и без вашего приказа трудимся сколько есть наших сил, трудимся больше вашего, хотя с вида мы только спим да гуляем в бурьяне: мы думаем, мм бережем печаль и горечь мысли, то, из чего вырабатывается благо,— а у вас только дело, какое оно ни будь сплеча, лишь бы дело! Вас если



что затруднит, если что мало не по вас, вы тут кричите и о благородном честолюбии, и о людской неправде, громите, разите — и правы. А из нас, мелкого народа, если кто не умел пробить стены головою, тот, по-вашему, и ленивец, и без силы воли, и не самоотвержен... Все, говорите вы, возможно. Что же возможно-то? Дела ты мне не найдешь, а какое нашлось бы, того делать нельзя, с тем приютиться здесь не к кому. Вы привыкли судить о затруднениях с высоты вашего величия: сделайте милость, загляните пониже!.. Для тебя, например, здесь общество — для меня нет его. Я не пойду к моим товарищам-писарям, а твой круг меня не примет.

Ибраев не возразил на это. Он спросил, помолчав:

— Но все же ты знаком с кем-нибудь?

— Да, встречаюсь — кланяюсь.

— Почему же не бываешь ни у кого? Я здесь месяц и нигде тебя не встречал.

— Я не пойду в дом, когда не могу принять у себя дома,— возразил Веретицын.— Впрочем, я знаю всех здешних и стариков, и молодых, даже дам. Прошлую осень и зиму скука меня одолела: я записался в собрание, ходил туда читать журналы, иногда поглядеть на танцы.

— Танцевал?

— С кем? К знакомым моей сестры я не подхожу, другим я не представлен. Мною заинтересовалась царица ваша, *madame la princesse*. Ведь у нее на уме все балы с переодеваниями да благотворительные спектакли. Увидела меня — новое лицо,— приказала моему непосредственному начальнику представить меня ей и осведомилась, нет ли за мною каких талантов: не пою ли я, не играю ли хоть на гудке, нет ли способностей к декламации. Ничего этого нет; но будь я даже безграмотный, все бы годился на роли без речей, да меня, к счастью, «принимать неловко». Я и остался на одних поклонах, потому что все-таки меня подводили к этой даме. Потом мне рассказывали: говорить ей больше нечего, вся переговорилась. Она произносит монологи обо мне перед своим круж-



ком, нарекла меня «le jeune malheureux»¹. Меня взорвало. Глупо это донельзя. Я перестал ходить на танцевальные вечера. Оно, впрочем, было и не по средствам: перчатки дороги.

— Послушай,— сказал Ибраев нерешительно,— а твои средства как же?

— Конечно, без гроша. Что оставалось от экономии учительского жалованья, что дал при выпуске покойник дядя, я все отдал «в дом»: не жить же Христа ради! Ну, я и здесь получаю жалованье, до шести рублей в месяц; это, говорят, очень хорошо... Да что мне нужно! Я счел бы себя не знаю каким счастливецом, если б была возможность нанять какой-нибудь чердак и пожить одному. Больше, право, кажется, мне и не надо. Я уж приучился себя ограничивать, ни к чему не привыкать, от всего отвыкать, все выносить... Знаешь, для того чтобы прошлой зимой записаться и бывать в собрании, я давал уроки.

— Что же,— сказал Ибраев,— прекрасно! Это занятие и не безвыгодное, я думаю...

— Да. Я учил читать, писать по-французски за десять копеек в час, десять часов в неделю — это очень интересно и очень выгодно. Я продолжал бы эти уроки, да захворал с начала весны, пролежал недель шесть и до сих пор не поправлюсь... словом сказать, очень весело! — заключил Веретицын, зажав руки в колени, покачиваясь и не глядя на приятеля.

— Но неужели же ничего, так-таки ничего отрадного в жизни? — спросил Ибраев.

— То есть чего же отрадного? Влюбиться? У меня, мой милый, барские замашки: я если что люблю, то люблю хорошее. Хорошее очень редко. Да хоть бы и встретилось, оно не про нас. Впрочем, я не отказываю себе в удовольствии... пожалуй, дурачиться.

— Ах, Саша, нехорошо!.. — сказал Ибраев, поглядывая на него и не находя сказать ничего более задушевного.

¹ «Молодым несчастливцем» (франц.).



— Хорошо-то что? — возразил Веретицын.

— Хорошего на свете много, но или оно не дается, или люди его не видят, или сами его портят...

— К какому же разряду я должен быть причислен: к несчастным, к дуракам или к негодяям? — спросил спокойно Веретицын, выслушав очень прилежно.

— Ты слишком резок, ты ожесточен,— продолжи Ибраев, не отвечая,— собственные неудачи мешают тебе смотреть на вещи беспристрастно. Согласись... не обижайся! согласишься, в твоём чувстве много эгоизма, а людям, которые не знают тебя коротко, этот эгоизм может показаться даже просто... мелкой завистью...

Ибраев осторожно остановился.

— Продолжай, продолжай! — сказал спокойно Веретицын.— Я ведь не обижаюсь.

— Как, не обижаешься? да этот один ответ...

— Ничего. Что же мой ответ? Разве ты первый мне это проповедуешь? Ты говоришь учтиво, другие говорили неучтиво; ты стараешься вразумлять, другие напроосто меня выгнали; ты соболезуешь, другие презирают. Я ко всему привык и могу все слушать, даже не удивляясь. Знаю, я смешон: падший дух на хлебах у своего зятюшки, губернского казначея; но я не вижу нигде, ни у кого, ни в чем благополучия, которому мог бы завидовать... Мне прескверно,— я, кажется, рассказал об этом даже слишком подробно,— но тоже ни за какие благополучия не желал бы я уметь читать вот такую мораль, будто люди эгоисты, когда оскорблены, будто они слепы и не видят своих радостей, когда им становится жить не под силу... Если чего я никогда терпеть не мог, так это разных сладеньких или премудрых готовых сентенций, на которых люди очень легко устрояют свою жизнь...

— Да ведь *легко*, да ведь *устрояют*...— возразил Ибраев.

— Ты нисколько не эгоист. — прервал Веретицын, засмеявшись.— Да, легко, да, устрояют; но сладенькая или премудрая сентенция одного устроит, а другого где-нибудь непре-